

Зойка и Валерия

Зимой Левицкий проводил все свое свободное время в московской квартире Данилевских, летом стал приезжать к ним на дачу в сосновых лесах по Казанской дороге.

Он перешел на пятый курс, ему было двадцать четыре года, но у Данилевских только сам доктор говорил ему "коллега", а все остальные звали его Жоржем и Жоржиком. По причине одиночества и влюбчивости, он постоянно привязывался к какому-нибудь знакомому дому, скоро становился в нем своим человеком, гостем изо дня в день и даже с утра до вечера, если позволяли занятия, — теперь стал он таким у Данилевских. И тут не только хозяйка, но даже дети, очень полная Зойка и ушастый гимназист Гришка, обращались с ним как с каким-нибудь дальним и бездомным родственником. Был он с виду очень прост и добр, был услужлив и неразговорчив, хотя с большой готовностью отзывался на всякое слово, обращенное к нему.

Пациентам Данилевского открывала дверь пожилая женщина в больничном платье, они входили в просторную прихожую, устланную коврами и обставленную тяжелой старинной мебелью, и женщина надевала очки, с карандашом в руке строго смотрела в свой дневник и одним назначала день и час будущего приема, — чаще всего через неделю, через две, — а других вводила в высокие двери приемной, и там они долго ждали вызова в соседний кабинет, на допрос и осмотр к молодому ассистенту в сахарно-белом халате, и только уже после этого попадали к самому Данилевскому, в его большой кабинет с высоким одром у задней стены, на который он заставлял некоторых из них взлезать и ложиться в самой жалкой и неловкой от страха позе: пациентов все смущало — не только ассистент и женщина в прихожей, их серьезность, скупость на слова, но и весь важный порядок этой просторной и богатой квартиры, выжидательное молчание приемной, где никто не смел сделать лишнего вдоха, и все они думали, что это какая-то совсем особенная, вечно безжизненная квартира и что Данилевский, высокий, плотный, грубоватый, вряд ли хоть раз в году улыбается. Но они ошибались: в той жилой части квартиры, куда вели двойные двери из прихожей направо, почти всегда было шумно от гостей, со стола в столовой не сходил самовар, бегала горничная, добавляя к столу то чашек и стаканов, то вазо-

чек с вареньем, то сухарей и булочек, и Данилевский даже в часы приема нередко пробегал туда на цыпочках и, пока пациенты ждали его, думая, что он страшно занят каким-нибудь тяжело больным, сидел, пил чай, говорил про них гостям: "Ничего, хай подождут, матери их чорт!" Однажды, сидя так и с усмешкой поглядывая на Левицкого, на сухую худобу и некоторую гнучность его тела, на его слегка кривые ноги и впалый живот, на обтянутое тонкой кожей лицо в веснушках, ястребиные глаза и рыжие круто вьющиеся волосы, Данилевский сказал:

— А признайтесь, коллега: ведь есть в вас какая-нибудь восточная кровь, жидовская, например, или кавказская?

Левицкий ответил со своей неизменной готовностью к ответам:

— Никак нет, Николай Григорьевич, жидовской нет. Есть польская, есть, может быть, ваша украинская, — ведь Левицкие есть и украинцы, — слышал от деда, будто есть и турецкая, но правда ли, один Аллах ведает.

И Данилевский с удовольствием расхохотался: широго сердца?

— Ну вот, я все таки угадал! Так что будьте осторожны, дамы и девицы, он турок и вовсе не такой скромник, как вы думаете. Да и влюбчив он, как вам известно, по турецки. Чей теперь черед, коллега? Кто теперь дама вашего

— Дария Тадиевна, — быстро залившись тонким огнем, ответил Левицкий с простосердечной улыбкой — он часто так краснел и улыбался.

Очаровательно смутилась, так что даже ее смородиновые глаза как будто на миг куда-то пропали, и сама Дария Тадиевна, миловидная, с синеватым пушком на верхней губе и вдоль щек, в черном шелковом чепчике после тифа, полулежавшая в кресле.

— Что-ж, это ни для кого не секрет и вполне понятно, — сказала она, — ведь во мне тоже восточная кровь...

И Гришка сладострастно заорал: "а, попались, попались!", а Зойка выскочила в соседнюю комнату и с разбега упала спиной к отвалу дивана с раскосившимися глазами.

Действительно, зимой Левицкий был скрытно влюблен в Дарию Тадиевну, а до нее испытывал некоторые чувства и к Зойке. Ей было всего четырнадцать лет, но она уже была очень развита телесно, сзади особенно, хотя еще по детски были нежны и круглы ее сизые голые коленки под короткой шотландской юбочкой. Год тому назад ее взяли из гимназии, не учили и дома, — Данилевский нашел в ней зачатки какой-то мозговой болезни, — и она жила в беспечном бездельи, никогда не скучая. Она так была со всеми

ласкова, что даже облизывалась. Она была крутолоба, у нее был наивно радостный, как будто всегда чему-то удивленный взгляд маслянисто синих глаз и всегда влажные губы. При всей полноте ее тела, в нем было грациозное кокетство движений. Красный бант, завязанный на темени в ее ореол переливающихся волосах, делал ее особенно соблазнительной. Она свободно садилась на колени к Левицкому — как бы невинно, ребячески — и, верно, чувствовала, что тайне испытывает он, держа ее полноту, мягкость и тяжесть и отводя глаза от ее голых колен под клетчатой юбочкой. Иногда он не выдерживал — как бы шутя целовал ее в щеку, и она закрывала глаза, томно и насмешливо улыбалась. Она однажды сказала ему под страшным секретом то, что только она одна в мире знала про маму: мама влюблена в молодого доктора Титова! Маме сорок лет, но ведь она стройна как барышня и страшно моложава, и оба они, и мама и доктор, такие красивые и высокие ростом! Потом Левицкий вдруг стал невнимателен к ней — стала часто появляться в доме какая-то Дария Тадиевна. Зойка сделалась еще как-будто веселее, беспечнее, но не сводила глаз ни с нее ни с Левицкого, часто с криком кидалась целовать ее, но так ненавидела, что, когда та заболела тифом, каждый день ждала радостной вести из больницы о ее смерти. А потом она ждала ее отъезда — и лета, когда Левицкий, освободившись от занятий, начнет ездить к ним на дачу по Казанской дороге, где Данилевские жили летом уже третий год: она тайком вела некоторую охоту на него.

И вот лето пришло, и он стал приезжать каждую неделю то на два, то на три дня. Но тут вскоре приехала гостить племянница папы из Харькова, Валерия Остроградская, которой ни Зойка ни Гришка никогда еще не видали. Левицкого послали рано утром в Москву встречать ее на Курском вокзале, и со станции он приехал не на велосипеде, а сидя рядом с ней на тележке станционного извозчика, усталый, с провалившимися глазами и радостно взволнованный. Видно было, что он еще на Курском вокзале влюбился в нее, и она обращалась с ним уже повелительно, когда он вытаскивал из тележки ее вещи. Впрочем, взбежав на крыльцо навстречу маме, она тотчас забыла о нем и потом не замечала его весь день. Она показалась Зойке непонятной, — разбирая вещи в своей комнате и сидя потом на балконе за завтраком, она то очень много говорила, то неожиданно смолкала, думала что-то свое. Но она была настоящая малороссийская красавица! И Зойка приставала к ней с неугомонной настойчивостью:

— А вы привезли с собой сафьянные сапожки и плахту?

Вы наденете их? Вы позволите называть вас Валечкой?

Но и без малороссийского наряда она была очень хороша: крепкая, ладная, с густыми темными волосами, с бархатными бровями, с глазами цвета черной крови, с горячим темным румянцем на загорелом лице, с ярким блеском зубов и полными вишневыми губами, над которыми были тоже чуть видные усики, только не пушок, как у Дарии Тадиевны, а черные волосики, такие же, как между бровями, делавшие ее больше всего малороссийской красавицей. Руки у нее были маленькие, но тоже крепкие, ровно загорелые, точно слегка прокопченные. А какие плечи! И как сквозили на них под тонкой белой блузкой шелковые розовые ленточки, державшие сорочку! Юбка была серая, довольно короткая и совсем простая, но удивительно сидела на ней. Зойка так восхищалась, что даже не ревновала Левицкого, который совсем перестал уезжать в Москву и не отходил от нее, счастливый, как дурак, тем, что она тоже стала называть его Жоржем и то и дело что-нибудь приказывала ему. Дальше дни пошли совсем летние, жаркие, гости стали все чаще приезжать из Москвы, и Зойка заметила, что Левицкий получил отставку, сидит все больше возле мамы, чистит с ней малину; что Валерия влюбилась в доктора Титова, в которого тайно влюблена мама. С Валерией вообще что-то случилось — когда не было гостей, она перестала по два раза в день менять нарядные блузки, как делала это прежде, иногда с утра до вечера ходила в мамином пеньюаре и вид имела брезгливый. Было страшно интересно: целовалась она с Левицким до своей влюбленности в Титова или нет? Гришка клялся, что видел, как она с Левицким шла раз перед обедом с купанья по еловой аллее, повязанная как чалмой полотенцем, как Левицкий тащил, спотыкаясь, ее мокрую простыню и что-то часто, часто говорил, и как она приостановилась, а он вдруг схватил ее за плечи и поцеловал в губы:

— Я прижался за елью, и они не видали меня, — горячо говорил Гришка, выкатывая глаза, — а я все видел. Она была страшно красивая, только вся красная, было еще страшно жарко и она, конечно, перекупалась, ведь она всегда по два часа сидит в воде и плавает, я это тоже подсмотрел, она голая прямо наяда, а он говорил, говорил, вот уж правда как турок...

Гришка клялся, но он любил выдумывать всякие глупости, и Зойка верила и не верила.

По субботам и воскресеньям поезда, приходившие на станцию из Москвы, даже утром были переполнены народом, праздничными гостями дачников. Иногда шел тот

прелестный дождь сквозь солнце, когда зеленые вагоны, обмытые им, блестели, как новенькие, белые клубы дыма из паровоза казались особенно мягкими, а зеленые вершины сосен, стройно и часто стоявших за поездом, круглились необыкновенно высоко в ярком небе. Приезжие на перебой хватали на изрытом горячем песке за станцией извозчицьи тележки и с дачной отрадой катили по песчаным дорогам в просеках бора, под небесными лентами над ними. Наступило полное дачное счастье в бору, который без конца покрывал окрест сухую, слегка холмистую местность. Дачники, водившие московских гостей гулять, говорили, что тут не достаает только медведей, декламировали "и смолой и земляничкой пахнет темный бор" и аукались, наслаждались своим летним благополучием, праздностью, вольностью одежды — мягкими косоворотками на выпуск с расшитыми подолами, длинными жгутами цветных поясов, холщевыми картузами: иного московского знакомого, какого-нибудь профессора или редактора журнала, борода того, в очках, не сразу можно было и узнать в такой косоворотке и таком картузе.

Среди всего этого дачного счастья Левицкий был вдвойне несчастен. Чувствуя себя с утра до вечера жалким, обманутым, лишним, он страдал тем более, что хорошо понимал, как пошло его несчастье. День и ночь он думал одно и то же: зачем, зачем так скоро и безжалостно приблизила она его к себе, сделала его не то своим другом, не то рабом, потом любовником, который должен был довольствоваться редким и всегда неожиданным счастьем только поцелуев, зачем говорила ему то ты, то вы и как у нее хватило жестокости так просто, так легко вдруг перестать даже замечать его в первый же день знакомства с Титовым? Он сгорал стыдом и от своего бессовестного торчания в усадьбе: завтра же надо исчезнуть, тайком бежать в Москву, скрыться это всех с этим позорным несчастьем обманутой дачной любви, столь явным даже для прислуги в доме! Но при этой мысли так пронзало воспоминание о бархатистости ее вишневых губ, что отнимались руки и ноги. Если он сидел на балконе один и она случайно проходила мимо, она с неумеренной простотой говорила ему на ходу что-нибудь особенно незначительное, — "а где-же это тетя, вы ее не видали?" — и он спешил ответить ей в тон, готовый зарыдать от обиды. Раз, проходя, она увидела у него на коленях Зойку, — какое ей было до этого дело? Но она вдруг бешено сверкнула глазами и звонко крикнула: "Не смей, гадкая девченка, лазить по коленям мужчин!" — и его охватил восторг: это ревность, ревность! А Зойка улучала каждую минуту, когда

можно было где-нибудь в пустой комнате на бегу схватить его за шею и зашептать, блестя глазами и облизывая губы: "Миленкий, миленкий, миленкий!" Она так ловко поймала однажды его губы своим влажным ртом, что он целый день после того не мог думать о ней без сладострастного содрогания и ужаса: что-же это такое со мной! как мне теперь глядеть в глаза Николаю Григорьевичу и Клавдии Александровне!

Двор дачи, похожей на усадьбу, был большой. Справа от въезда стояла пустая старая конюшня с сеновалом в надстройке, потом длинный флигель для прислуги, соединенный с кухней, из-за которой глядели березы и липы, слева, на твердой бугристой земле, просторно росли старые сосны, на лужайках между ними поднимались "гигантские шаги" и качели, дальше, уже у стены леса, была крокетная площадка. Дом, тоже большой, стоял как раз против въезда, за ним большое пространство занимало смещение леса и сада с мрачно-величавой аллеей древних елей, шедшей посреди этого смещения от заднего балкона к купальне на пруду. И хозяева, одни или с гостями, сидели всегда на переднем балконе, вдававшемся в дом и защищенном от солнца. В то воскресное жаркое утро на этом балконе сидели только хозяйка и Левицкий. Утро, как всегда при гостях, казалось особенно праздничным, а гостей приехало много, и горничные, блестя новыми платьями, то и дело пробегали по двору из кухни в дом и из дома в кухню, где шла спешная работа к завтраку. Приехало пятеро: темнолицый, желчный писатель, всегда не в меру серьезный и строгий, но страстный любитель всяких игр, коротконогий и похожий на Сократа профессор, в пятьдесят лет только что женившийся на своей двадцатилетней ученице и приехавший вместе с ней, тоненькой блондинкой, очень нарядная маленькая дама, прозванная осой за свой рост, худобу, злость и обидчивость, и Титов, которого Данилевский прозвал наглым джентльменом. Теперь все гости, Валерия и сам Данилевский были под соснами возле леса, в их сквозной тени, — Данилевский курил в кресле сигару, дети с писателем и женой профессора носились на "гигантских шагах", а профессор, Титов, Валерия и оса бегали, стучали молотками в крокетные шары, перекликались, спорили, ссорились. И Левицкий с хозяйкой слушали их. Левицкий пошел было туда — Валерия тотчас прогнала его: "Тетя одна чистит вишни, извольте итти помогать ей!" Он неловко улыбнулся, постоял, посмотрел, как она, с молотком в руках, нагибается к крокетному шару, как висит ее чесучевая юбка над тугими икрами в тонких чулках палевого шелка, как полно и тяже-

ло натягивают ее груди прозрачную блузку, под которой сквозит загорелое тело круглых плечей, кажущееся розоватым от розовых перемычек сорочки, — и побрел на балкон. Он был особенно жалок в это утро, и хозяйка, как всегда, ровная, спокойная, ясная молодежавым лицом и взглядом чистых глаз, тоже слушая с тайной болью в сердце голоса под соснами, искоса посматривала на него.

— Теперь руки и не отмоешь, — говорила она, окровавленными пальцами запуская золоченую вилочку в вишню, — а вы, Жорж, всегда умеете как-то особенно испачкаться... Милый, отчего вы все в кителе, ведь жарко, могли бы отлично ходить в одной рубашке с поясом. И не брились де-сять дней...

Он знал, что впалые щеки его заросли красноватой щетиной, что он ужасно затаскал свой единственный белый китель, что студенческие штаны его лоснятся и ботинки не чищены, знал, как сутуло сидит он с своей узкой грудью и впалым животом, и отвечал, краснея:

— Правда, правда, Клавдия Александровна, я совсем спустился, бессовестно пользуясь вашей добротой, не брит, как беглый каторжник, простите Бога ради. Нынче же приведу себя в порядок, тем более, что давным-давно пора мне в Москву, я уж так загостился у вас, что всем глаза намозолил. Я твердо решил завтра же ехать. Меня один товарищ зовет к себе в Могилев, — пишет, удивительно живописный город...

И нагнулся еще ниже над столом, услышав с крокета повелительный крик Титова на Валерию:

— Нет, нет, сударыня, это не по правилам! Не умеете ножку на шар ставить, бьете по ней молотком — ваша вина. А два раза крокировать не полагается...

За завтраком ему казалось, что все сидящие за столом вселились в него — едят, говорят, острят и хохочут в нем. После завтрака все пошли отдыхать в тени еловой аллеи, густо усыпанной скользкими хвойными иголками, горничные потащили туда ковры и подушки. Он прошел по жаркому двору к пустой конюшне, поднялся по стенной лестнице в полутемный чердак, где лежало старое сено, и повалился в него, стараясь что-то решить, стал пристально смотреть, лежа на животе, на муху, которая сидела на сене перед самыми его глазами и сперва быстро, крест на крест, сучила передними ножками, точно умывалась, потом с усилием, как-то противоестественно стала задирать задние. Вдруг кто-то быстро взбежал на чердак, распахнул и запахнул дверь — и, обернувшись, он увидел в свете слухового окна Зойку. Она прыгнула к нему, утонула в сене и, задыхаясь, за-

шептала, тоже лежа на животе и будто испуганно глядя ему в глаза:

— Жоржик, миленький, я что-то должна вам сказать — страшно для вас интересное, замечательное!

— Что такое, Зочка? — спросил он, приподнимаясь.

— А вот увидите! Только сначала поцелуйте меня за это — непременно!

И забила ногами по сему, обнажая полные ляжки.

— Зочка, — начал он, не в силах от душевной измученности удержать в себе болезненное умиление, — Зочка, вы одна меня любите и я вас тоже очень люблю... Но не надо, не надо...

Она пуще забила ногами:

— Надо, надо, непременно!

И упала головой ему на грудь. Он увидал под красным бантом молодой блеск ее ореховых волос, услышал их запах и прижался к ним лицом. Вдруг она тихо, но пронзительно вскрикнула: "ай!" и схватила себя за юбку сзади.

Он вскочил:

— Что такое?

Она, упав головой в сено, зарыдала:

— Меня что-то страшно укусило там... Посмотрите, посмотрите скорее!

И откинула юбку на спину, сдернула с своего полного тела панталончики:

— Что там? Кровь?

— Да ровно ничего нет, Зочка!

— Как нет? — крикнула она, опять зарыдав. — Подуйте, подуйте, мне страшно больно!

И он, дунув, жадно поцеловал несколько раз в нежный холод широкой полноты ее зада. Она вскочила в сумасшедшем восторге, блестя глазами и слезами:

— Обманула, обманула, обманула! И вот вам за это страшный секрет: Титов дал ей отставку! Полную отставку! Мы с Гришкой все слышали из-за кресел в гостиной: они идут по балкону, мы сели на пол за креслами, и он ей и говорит, страшно оскорбительно: "Сударыня, я не из тех, кого можно водить за нос. И при том я вас не люблю. Полюблю, если заслужите, а пока никаких объяснений". Здорово?

Иван и Ея жд

И, вскочив, кинулась в дверь и вниз по лестнице.

Он посмотрел ей вслед:

— Я негодай, которого мало повесить! — сказал он громко, еще чувствуя на своих губах ее тело.

Вечером в усадьбе было тихо, наступило успокоение, чувство семейственности, — гости в шесть часов уехали...

Теплые сумерки, лекарственный запах цветущих лип за кухней. Сладкий запах дыма и кушаний из кухни, где готовят ужин. И мирное счастье всего этого — сумерек, запахов — и все еще что-то обещающая мука присутствия Валерии, ее существования возле него... разрывающая душу мука любви к ней — и ее беспощадное равнодушие, отсутствие... Где она? Он сошел с переднего балкона, слушая мерный, с промежутками, визг и скрип качелей под соснами, прошел к ним — да, это она. Он остановился, глядя, как она широко летает вверх и вниз, все туже натягивая веревки, силясь взлететь до последней высоты, и делает вид, что не замечает его. С визгом колец жутко летит кверху, исчезает в ветвях и, как подстреленная, стремительно несется вниз, поджав ноги и развевая подол... Вот бы поймать! Поймать и задушить, изнасиловать!

— Валерия Андреевна! Осторожнее!

Точно не слыша, наддает еще крепче...

За ужином на балконе, под горячей, яркой лампой, смеялись над гостями, спорили о них. Неестественно смеялась и она, жадно ела творог со сметаной, опять без единого взгляда в его сторону. Одна Зойка молчала и все косилась на него, блестя глазами, знающими что-то вместе с ним одним.

Все разошлись и легли рано, в доме не осталось ни одного огня, всюду стало темно и мертво. Незаметно ускользнув тотчас после ужина в свою комнату, дверь которой выходила на передний балкон, он стал совать свое белье в свой заплечный мешок, думая: выведу потихоньку велосипед, сяду — и на станцию. Возле станции лягу где-нибудь на песок в лесу до первого утреннего поезда... Хотя нет, так нельзя. Выйдет Бог знает что, — сбежал ночью, ни с кем не простясь... Надо ждать до завтра — и уехать бесечно, как ни в чем не бывало: “До свиданья, дорогой Николай Григорьевич, до свиданья, дорогая Клавдия Александровна! Спасибо, спасибо за все! Да, да, в Могилев, удивительно, говорят, красивый город... Зочка, будьте здоровы, милая, растите и веселитесь! Гриша, дай пожать твою “честную” руку! Валерия Андреевна, всех благ, не поминайте лихом...” Нет, не поминайте лихом ни к чему, глупо и бестактно, буд-то какой-то намек на что-то...

Чувствуя, что нет ни малейшей надежды заснуть, он на ципочках спустился с балкона, решив выйти на дорогу к станции и промаять себя, прошагать версты три. Но во дворе остановился: теплый сумрак, сладкая тишина, млечная белизна неба от несметных мелких звезд... Он пошел по двору, опять остановился, поднял голову: уходящая все

глубже и глубже в высь звездность и там какая-то страшная черно-синяя темнота, провалы куда то... и спокойствие, молчание, непонятная, великая пустыня, безжизненная и бесцельная красота мира... безмолвная, вечная религиозность ночи... и он один, лицом к лицу со всем этим, в бездне между небом и землей... Он стал внутренне, без слов, молиться о какой-то небесной милости, о чьей-то жалости к себе, с горькой радостью чувствуя свое соединение с небом и уже некоторое отрешение от себя, от своего тела... Потом, стараясь удержать в себе эти чувства, посмотрел на дом: звезды отражаются расплюснутым блеском в черных стеклах окон — и в стеклах ее окна... Спит или лежит, в тупом оцепенении все одной и той же мысли о Титове? Да, вот и ее черед...

Он обошел большой, неопределенный в сумраке дом, пошел к заднему балкону, к поляне между ним и двумя страшными своей ночной высотой и чернотой рядами неподвижных елей с острыми верхушками в звездах. В темноте под елями тлеют, рассыпаны недвижные желто-зеленые искры светляков. И что-то смутно белеет на балконе... Он приостановился, вглядываясь, и вдруг дрогнул от страха и неожиданности: с балкона раздался негромкий и ровный, без выражения голос:

— Что это вы бродите по ночам?

Он в изумлении двинулся и тотчас различил: она лежит в качалке, в старинной серебристой шали, которую все гости Данилевских поочередно накидывали на себя по вечерам, если оставались ночевать. От растерянности он тоже спросил:

— А вы почему не спите?

Она не ответила, помолчала, поднялась и неслышно сошла к нему, поправляя сползающую шаль плечом.

— Пройдемся...

Он пошел за ней, сперва сзади, потом рядом, в темноту аллеи, будто что-то таившей в своей мрачной неподвижности. Что это? Он опять с ней, наедине, вдвоем, в этой аллее, в такой час. И опять эта шаль, всегда скользившая с ее плеч и коловшая коньчики его пальцев своими шелковыми ворсинками, когда он поправлял ее на ней... Пересиливая судорогу в горле, он выговорил:

— За что, зачем вы так страшно мучите меня?

Она качала головой:

— Не знаю. Молчи.

Он осмелел, возвысил голос:

— Да, за что и зачем? Зачем было вам...

Она поймала его висящую руку и стиснула ее:

— Молчи.

— Валя, я ничего не понимаю...

Она отбросила его руку, взглянула влево, на ель в конце аллеи, широко черневшую треугольником своей мантии:

— Помнишь это место? Тут я тебя в первый раз поцеловала. Поцелуй меня тут в последний раз...

И, быстро пройдя под ветви ели, кинула на землю шаль:

— Иди ко мне...

Тотчас вслед за последней минутой она резко, гадливо оттолкнула его и осталась лежать как была, только опустила колени и уронила руки вдоль тела. Он пластом лежал рядом с ней, прильнув щекой к хвойным иглам, на которые текли его горячие слезы. В застывшей тишине ночи и лесов неподвижным ломтем дыни краснела вдаль, невысоко над смутным полем, поздняя луна.

В своей комнате он взглянул запухшими от слез глазами на часы и испугался: два без двадцати минут! Торопясь и стараясь не шуметь, он свел велосипед с балкона, тихо и скоро повел его по двору. За воротами вскочил в седло и, круто согнувшись, бешено заработал ногами, прыгая по песчаным ухабам просек, среди бегущей на него с двух сторон и сквозящей на предрассветном небе частой черноты прямых стволов. "Опоздаю!" И он работал все горячее, вытирая потный лоб сгибом руки: курьерский из Москвы пролетал мимо станции — без остановки — в два пятнадцать — ему оставалось всего несколько минут. Вдруг, в полусвете зари, еще похожем на сумерки, глянул в конце просеки темный вокзал станции. Вот оно! Он решительно вильнул по дороге влево, вдоль железнодорожного пути, вильнул вправо, под шлагбаум, потом опять влево, между рельсами, и понесся, колотясь по шпалам, навстречу вдруг вырвавшемуся из-под уклона, грохочущему и слепящему огнями паровозу.

Ив. Бунин